

ГЛАВА II. 52 дня под смертным приговором

Начиная с 26 марта 1910 года нас с товарищами держали в камере смертников. Эта камера с низким сводчатым потолком, шириной в 2 метра и длиной в 5, и еще три таких же находились в подвале Екатеринославской тюрьмы. Стены этих камер были покрыты надписями, оставленными известными и неизвестными революционерами, которые в тревоге ожидали там предначертанного им часа. Их тени, казалось, бродили вдоль этих стен, воздвигнутых угнетателями, чтобы заключить угнетенных или борцов, которые вышли даже из их среды, но честно порвали с их преступным миром. Эти тени оставались с нами, которые в свою очередь ожидали преждевременной смерти. Заключенные в этих камерах чувствовали себя наполовину в могиле. У нас было такое ощущение, как будто мы судорожно цепляемся за край земли и не можем удержаться. Тогда мы думали о всех наших товарищах, оставшихся на свободе, не потерявших веру и надежду осуществить еще что-то доброе в борьбе за лучшую жизнь. Принесши себя в жертву во имя будущего, мы испытывали по отношению к ним особое чувство искренней и глубокой нежности. Кроме этих чувств, которые привязывали еще к жизни, приговоренные к смерти разрывали, сами того не замечая, всяческую связь с внешним миром. Сидя, стоя или идя, они думали только об одном: своей казни. Они искали в себе силы оставаться твердыми и отважными до последней минуты перед палачами. Таким было последнее желание, мечта, самое большое утешение для всех тех, кто сознательно вступил на путь революционной борьбы.

Однако были и другие, не только среди уголовников, но также и среди революционеров, те, кто с приближением последних минут жизни начинал сожалеть о своих поступках. Раскаиваясь, они не могли обрести былую храбрость, не могли привыкнуть к мысли о смерти: они начинали плакать и терять рассудок. Хотя среди революционеров их было мало, их нельзя было осуждать из-за той огромной тяжести, которая на них обрушилась. Надо было пытаться поддержать их морально, не оставлять их наедине с самими собой.

Весной 1910 года в Екатеринославской тюрьме было много приговоренных к смерти. Только в нашей 23-й камере, кроме Бондаренко, Кириченко, Орлова и меня, было еще семь человек. Дни для нас проходили в ожидании, когда за нами придут и уведут на виселицу. Мы были молоды и полны сил, поэтому испытывали бесконечную печаль при мысли о том, что мы могли бы еще осуществить во имя нашего идеала. Но ни один из нас не боялся ни палача, ни эшафота, так как мы заранее знали, на что шли. Мой товарищ Бондаренко поведал мне о своем убеждении, что его скоро повесят, но, что касается меня, он говорил: «Послушай, Нестор, у тебя есть шанс, что палачи заменят тебе смертный приговор на пожизненную каторгу. Затем тебя освободит революция, и я глубоко убежден, что, получив свободу, ты высоко поднимешь знамя Анархии, которое у нас вырвали наши враги, и водрузишь его очень высоко... такое у меня предчувствие, так как я видел тебя в деле, Нестор, ты не

дрожишь перед палачами».

Тогда Кириченко и я прервали его и подвергли сомнению его слова. Мы ему говорили о моей интеллектуальной неподготовленности и о моей физической слабости, тем более, что я тогда страдал от болей в желудке и не мог почти ничего есть. «В таком случае, если ты этого не сделаешь, ты будешь предателем, - продолжал Бондаренко, - так как для того, чтобы сохранить веру и внутреннюю силу, чтобы ненавидеть палачей и действовать, не надо иметь большие умственные или физические способности. Достаточно иметь волю и преданность делу».

К нашим возражениям Бондаренко присоединился товарищ Орлов, и нам удалось взять верх. Тогда он задумчиво замолчал на некоторое время и заключил с непоколебимым убеждением: «Тем не менее, Нестор, если когда-то ты станешь свободным и откажешься бороться против этой банды паразитов - царя, буржуазии и их прислужников, - как и против новой власти, даже социалистической, ты глупец и бездельник».

Наши разговоры продолжались целыми часами. Мы говорили о прошлом и о будущем, но не о настоящем. Однако эти споры не позволяли нам забыть мысль, которая довлела над всеми остальными: ожидание нашей скорой казни.

Однажды вечером в ходе спора вдруг нас объединила одна мысль. Мы сказали себе: какая глупость, какой абсурд сидеть и ждать повешения, тогда как мы могли бы в момент выхода на прогулку напасть на охранников, разоружить их в мгновение ока и попытаться бежать! А если нам это не удастся, нам останется только покончить с собой, вместо того, чтобы глупо ожидать пока нас добьют. Все с энтузиазмом присоединились к этому плану.

«Действительно, - сказал Тюленин, один из товарищей анархистов, - мы способны отомстить за нас своим палачам, и даже сможем заняться палачом Простотиним!».

«Отличная мысль, - ответил я, почти крича, - мы потянем его за собой, в могилу!». Кто-то добавил: «А кроме того, хватит, все эти тюремщики действительно слишком чувствуют себя здесь полными хозяевами... надо им показать раз и навсегда, что они имеют дело не с послушными овцами».

Так и решили. Во время выхода из камеры на прогулку мы должны были схватить Простотина и коридорных охранников, разоружить их, убить тех, кого мы знали как наших заклятых врагов, связать остальных, спуститься во двор тюрьмы, где нам оставалось разоружить еще несколько охранников, убить начальника тюрьмы Титисова и его заместителей, в особенности пресловутого Белокоза, затем попытаться вырваться на улицу. Выйдя наружу с оружием, мы должны были разбежаться по два в разные стороны. В случае провала плана нам не оставалось ничего другого, как покончить с собой. Никто не должен был сдаться живым.

Из нас всех я был физически самым слабым, но мне тоже дали задание. Наконец все было готово, и все роли распределены. Нам оставалось только ждать завтрашнего утра, времени начала прогулки, чтобы осуществить наш план. Как обычно, в девять часов вечера мы легли спать. Едва мы легли, как вошел Белокоз с другими охранниками, чтобы увести одного из

наших на казнь. Это был хороший товарищ, достойный и приятный, хотя он и не разделял наших идей. Его увели. Какую же боль, какую тревогу, какое возмущение ума мы испытывали в это мгновение! Он только что разговаривал с нами, и вот его вырвали из наших рядов, не дав даже попрощаться. Переполненные тревогой, с напряженными до предела чувствами, мы не могли уснуть после его ухода.

Я испытывал сумасшедшее желание подвергнуть ужасным страданиям всех тех, кто приговаривает к смерти и заставляет вас ждать и надеяться до самого рокового часа. Но мои руки и ноги были в кандалах: я мог думать, но не мог действовать. Я старался запечатлеть в памяти все эти размышления, чтобы отомстить когда-нибудь виновникам такого положения дел, если останусь живым.

На следующий день на рассвете мы встали и ходили по узкой камере, наталкиваясь друг на друга и избегая взглядов. Нам принесли горячей воды на чай. Разговаривая вполголоса, мы повторили еще раз наш план. После чая мы пошли на прогулку, но, к сожалению, ни в коридоре, ни во дворе, вплоть до ограды, где происходила прогулка, мы никого не встретили. Из-за этого возникли сомнения и нами овладело разочарование. Отвечая на наш вопрос, один из охранников объяснил, что Простотин выходит из своей камеры только раз в неделю, чтобы пойти в баню. Мы поняли тогда, что наш план провалился. Мы провели долгие часы в поисках другого плана. Неожиданно мы обнаружили, что один из охранников нам симпатизирует и через него передали письмо местной анархо-коммунистической группе.

Симпатизировавший нам охранник согласился бежать вместе с нами. Мы быстро разработали новый план: после вечерней прогулки мы должны подпилить ножовкой решетку на окне, и при первой возможности - отсутствие, невнимательность или сон охранника - выбраться во двор, где к нам присоединится наш друг охранник. Затем мы должны пройти двор до женского блока, где сидели многие наши подруги. Они должны открыть окна, по рамам которых мы сможем выйти на крышу этого двухэтажного здания. Оттуда мы спрыгнем во двор прилегавшего к тюрьме водочного завода, где нас будут ждать товарищи. Таким образом мы будем спасены.

Немедленно началась переписка с группой и подготовка. Через несколько дней у нас уже были ножовки по металлу. С подпиливанием и снятием оконных решеток мы могли управиться за четверть часа. Все шло великолепно, и мы очень радовались. Даже самые обескураженные среди нас обрели силу духа. Еще два-три дня и все начнется, и если побег не удастся, мы, по крайней мере, не умрем от руки палача. Вот о чем мы думали.

Помнится, однажды вечером, где-то около 20 апреля, я сказал товарищам: «Друзья, сегодня пятница, значит, одного из нас могут этой ночью казнить (так как по законам церкви и государства нельзя было производить казни по субботам и воскресеньям). Давайте сядем за стол и поедим как следует. По крайней мере, тот кого повесят, умрет с полным животом, пролежит дольше в земле, и червям достанется больше!»

В тот вечер мы все были в веселом настроении, и мое предложение вызвало смех. Мы накрыли стол посреди камеры и с аппетитом поели колбасы, сыра, сала, селедки, короче,

понемногу всего, что у каждого было в запасе, а продуктов было немало, так как приговоренные к смерти имели право на ежедневные встречи с родственниками и получение в неограниченных количествах продуктов питания. Между прочим, некоторые из нас имели деньги на хранении в тюремной столовой. После обильного ужина мы разложили матрацы и улеглись спать. Было 9 часов вечера, некоторые уже спали, другие беседовали с новоприбывшими (власти очень заботились, чтобы не было свободных мест и заполняли их по мере освобождения).

Вдруг дверь камеры распахнулась с такой силой, что опрокинула стол, из-за чего стоявшая на нем керосиновая лампа упала. В полнейшей темноте раздался приказ не двигаться со своих мест. Один из охранников зажег фонарь и осветил камеру. У входа в камеру стояли охранники и солдаты с саблями и револьверами в руках. Белокоз ворвался внутрь и схватил одного из наших товарищей в кандалах. Заметив, что это оказался не тот, он заорал: «Шанаев! Шанаев!». Это был черкес, который не спал, так как подозревал, что именно его очередь идти на казнь. Он натянул одеяло на голову, проглотил дозу стрихнина и ответил: «Я!». Белокоз схватил его за кандалы и выволок в коридор. Шанаев вдруг пошатнулся и упал, крикнув нам наполовину на русском, наполовину на своем родном языке: «Прощайте, товарищи! Я умираю!». Его тело вытащили наружу. Те, кто готовился увидеть его на эшафоте, не получили такого удовольствия: ни палач, которому платили по три рубля за каждого казненного, ни прокурор, который присутствовал, чтобы прочесть еще раз смертный приговор перед виселицей, ни врач, «долг» которого состоял в том, чтобы подождать предусмотренные четверть часа после повешения и торжественно констатировать кончину, ни, наконец, поп, который присутствовал при этом, чтобы поддержать приговоренного, если тот высказал такое пожелание. Напрасно смазывали мылом веревку, Шанаев предпочел избежать всей этой «церемонии». Тюремщики немедленно провели тщательный обыск в нашей камере в поисках стрихнина, но ничего не нашли. После этой бурной ночи последовали два или три дня ужасных моральных мук. Мы вновь потеряли всякий аппетит.

Вечером 26 апреля 1910 года охранники вновь появились в нашей камере и увели моего лучшего друга Бондаренко. Белокоз не вошел в камеру, а позвал его с порога. Бондаренко спал как раз рядом со мной, и услышав свое имя, только свое, он повернулся ко мне и сказал: «Нестор, брат мой, ты остаешься жить, я знаю, ты выйдешь на свободу, я же иду на верную смерть». Он обнял меня. Мое сердце билось очень сильно, я схватил его за руку и поцеловал в щеку. Белокоз сказал с нетерпением: «Бондаренко, пора выходить!». Мой друг встал и ответил: «Я готов!». Затем он обратился ко всем товарищам по камере: «Прощайте, друзья! Будьте спокойны, потому что я спокоен». Дверь за ним закрылась, и многие сокамерники бросились ко мне, поздравляя и обнимая: «Махно, твоя жизнь спасена!». Другого моего товарища, Кириченко, который был болен, в тот вечер перевели в тюремную больницу. Один из санитаров предупредил, что за ним идут, чтобы его повесить. Кириченко знал, что его уведут, несмотря на болезнь, даже на носилках, поэтому он решил принять яд и умер в кровати.

На следующий день родители обоих товарищей пришли их проведать. Нет слов, чтобы описать горе отцов и матерей, узнавших об их смерти. Они приехали издали и привезли с собой также мою мать. Это было невыразимо грустно. Мать спросила, сколько оставить мне денег. Я ответил, что не надо ничего оставлять: «Я не знаю, что со мной еще будет. Может

